

Стихи Вилли Брайнин-Пассека – музыкальные, точные по слову и интонации, выговоренные на свободном дыхании, льются речным потоком. Но поток этот несёт в себе раздумье, размышления внимательного к жизни, разнообразно одарённого, парадоксально мыслящего человека. Поэтому привкус иронии и самоиронии постоянно присутствует в его поэзии. Автор чужд какой-либо декларативности, но его нравственные и этические принципы очевидны – они вытекают из самого способа видеть мир глазами поэта и музыканта. А эмоциональный строй его стихов вызывает живой отклик.

Д. Ч.

* * *

Уходит в Данию паром.
Туман такой, что топором
его украсил бы поэт,
когда б курить не бросил.
на берегу стоит дурак,
стоит без дела, просто так –
в его руках велосипед,
а за плечами осень.

Поджав коленки и свистя
уютно носиком, дитя,
во сне болтая разный вздор,
спит в дураке, как в матке.
Здесь дров наломано вполне –
пока письмо чужой жене
он сочиняет, до тех пор
его мозги в порядке.

Но вот неожиданный поворот –
дурак бумажку достаёт
и начинает сочинять
письмо *чужому мужу*.
И едет крыша набекрень:

зане сулит грядущий день
безумству храбрых исполать,
а нам туман и стужу.

Чтоб завершить портрет, пейзаж
и прочее, покорный ваш
слуга берлинскую лазурь
берёт на кончик кисти.
Осталось капнуть на листок,
руками вверх войти в поток,
не замочив родную дурь
среди чужбинных истин.

* * *

Ещё по сусекам пошаришь,
ещё наскребёшь по углам
золы от минувших пожарищ
и тлена с трухой пополам.
От ёлочных тех украшений –
алмазная пыль на ногах,
от мелочных тех сокрушений
взамен покаяния – страх,
что время пришло, и повис ты
без верха и низа. Смотри,
а вдруг объяснят атеисты –
что там обмирает внутри?

Где грело, горело, пылало,
палило, целило, цвело,
расплавом густым остывало
и перетекало в стекло,
в рождественское сверканье
рождённых дыханьем шаров –
там нынче не камня на камне,
но так – небогатый улов:
всё больше опилки, обмылки,
и смотришь, нечаянно нищ,
на прорезь брезгливой ухмылки,
на мерзость родных пепелищ.

* * *

Я за тебя не отвечаю, ты – за меня.
Ещё тебя я различаю в неровном свете,
но если туча снег обрушит на зеленыя,
то раскидает наши души холодный ветер.

Мы по складам читаем Сартра – такой-сякой.
Сереет призрачное завтра судьбы-сквалыги.
Навалом камер-одиночек – кому покой,
кому – сгоранье между строчек правдивой книги.

Нас разведут после прогулки кого куда,
твои шаги пока что гулки, но стихнут скоро.
– Ау! – кричу, глаза таращу, но ни следа
не оставляет уходящий по коридору.

Ещё печальный август дышит своим теплом,
ещё писатель что-то пишет о бедной твари,
ещё солёным поцелуем украсим дом,
ещё немного попируем в чумном угаре.

* * *

Вчерашний день – гниющее зерно.
В сырой суглинок брошено оно.
Колосьев тени выйдут на свободу,
когда потоп закончится на том,
что горлица маслиновым листом
нам возвестит приличную погоду.

Мы, озираясь, выползем из дыр.
Какой волнующий, безбрежный мир!
Какое солнце после ночи гнева!
Не тот хозяин, кто бросал зерно,
а тот, кому впоследствии дано
тень урожая запастись для сева.

Немые отражения скользят,
снуют до горизонта и назад,
как будто конькобежцы на картинке.
Вот мой товарищ, он остался жить,

чтоб над зерном упрямо воровать,
как он умеет – значит, по старинке.

Готова к жатве юная земля,
бескрайни Елисейские поля,
невпроворот – имеющему силы.
С серпом в руке, с бессмысленным лицом
крадётся Эвридика за певцом,
и беспокойны отчие могилы.

* * *

С экрана летящий поезд
ладонью закрыт от глаз.
Писатель же, успокоясь,
уводит опасную повесть
в финальную кутерьму.
Что поезд ненастоящий –
он знает не хуже нас,
но что пассажир обрящет,
доверившийся ему,
неведомо никому.

А вот и читатель вздорный,
раскрывший смело глаза,
то белым путем, то чёрным
везомый себе гуртом,
рискующий ежечасно
свалиться с экрана в зал,
чай распивать согласный
беспечно в поезде том.

Писатель – большой начальник.
Он может повелевать
громами и, глядя на чайник,
заставит его кипеть,
но даже и он не в силах
читателей двинуть вспять,
когда уже упросил их
ломать вместе с ним комедь.

И ангел глядит печально
с горних своих высот.
Есть у него начальник
поболе того, кто тут
бессильно машет руками,
другим затыкая рот,
покуда за облаками
с докладом ангела ждут.

Он явится и доложит:
– Идёт своим чередом
кино. Никого не гложет
ни день, что напрасно прожит,
ни воздаянья ночь.
К обрыву сгоняет стадо
пастух в кинозале том.
Уже снесена ограда.
Погнать ли безумцев прочь?
Помочь ли им?
– Нет, не надо,
бессилен ты им помочь.

* * *

Наморщенная простыня
бутылочного стекла
уже к середине дня
густых небес голубее.
У края глаз пролегла
обманчивая западня,
серебряная игла,
сирены, Пантикапеи.

С обрыва видно насквозь,
что листья травы морской
стремятся не на авось,
но как магнитные стрелы –
как будто властной рукой
Господь на земную ось
навёл их поиск слепой,
несмелый и неумелый.

Кто б ни был ты – не спеши.
Пусть с этими заодно
побеги твоей души
направит Божья десница –
там тоже глухое дно
и тоже в сырой глуши
ни солнечно, ни темно,
но мрак золотой гнездится.

* * *

Ради горения стоит ли пробовать
липкий озон, соловьиные яства?
Трогает бестолочь, жившая впроголодь,
битые стекла, дремучая астма.

Птичье биенье и нежное зарево,
что половину души не пожрало –
плата за пот, за газетное варево,
за перековку мечей на орала.

Дни Александровы веку завещаны,
альфа легка – неподъёмна омега.
Как пауки разбегаются трещины
на партитуре железного века.

Лепятся снега пушистые варежки
к незамерзающим окнам столетья,
сыплют мазурками польские барышни,
вздохи, признания и междометья.

Пёрышком лёгким бумагу насилуя,
строчку дырявую мальчик латает,
смотрит в упор на отчизну немилую
и восхищения слёзы глотает.

Слава тому, кто плетётся в фарватере,
а для упрямца верёвка найдётся.
Пахнет могилой в утробе у матери
для нерождённого канатоходца.

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ЗАХЕЗИНА

Убегает последний трамвай. Последний виток
моложавой дурашливости: а ну, догоняй!
У локтей, торчащих из окон, выходит срок –
по расштанной памяти жмёт последний трамвай.

На подножку его вскочить – невеликий риск.
На кондукторе профиль, точно камей, надет.
Тормоза его издают благородный визг.
За дугой осыпается метеоритный след.

Обгоняя его, летит площадная брань,
потому что стоящие в нём не глядят назад.
Поперёк сегодня торчит зеркальная грань,
отражается в ней перспектива прошлых утрат.

Хорошо вот, Лев Николаевич, – грешен был,
а потом исправился. Или же мытарь тот,
что впоследствии стал апостолом, – прежде бил
ничего дурного не делавших вдов и сирот.

Это значит, что времени там, впереди – вагон, –
ведь не большой, на самом деле, вкусил я срам?
Да и рельсов особенность – не совершить обгон,
протолкаешься разве что по чужим ногам.

* * *

Леониду Фейгину

Томится от безделья музыкант,
он трубочкой сопит полузатухшей
и пялится на розовый закат,
стыдливо хоронящийся за тучей.

У тучи плоский и унылый вид
серятины чиновной – будто словом
слюнообразным сплюнуть норовит
в конверт казённый с штемпелем лиловым.

Внизу рояль играет в чехарду
с ликующими воплями невежды.
Как ни стремись к привычному труду –
немыслимо работать без надежды.

Дружище, там, за тридевять земель,
тобой посеянные, прорастают зёрна,
и льёт тягучий мёд виолончель
туда, где ждёт тенистая валторна.

За пультом, партитурой шелестя,
реаниматор оживляет в звуке
твоё, тобой забытое дитя,
к тебе оттуда тянущее руки.

И тянутся со дна души твоей,
с уже почти объявленных поминок,
ему навстречу тысячи теней
восьмушек, четвертушек, половинок.

Тоска молчать им, погружённым в ночь,
где свет в окошке – неподвижный омут.
Никто другой не сможет им помочь,
когда тебя молитвы их не тронут.

* * *

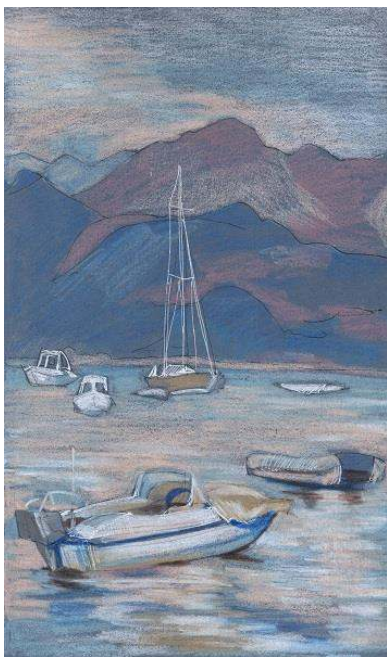
Месяц профилей литых
с ископаемых монет
подошёл и встал впритык –
значит, лето на исходе.
Вновь грозит Октавиан,
что сошлёт, сведёт на нет –
краснозадый павиан
нынче властвует в природе.

– За безнравственность и за
недвусмысленный подтекст
поезжай, протри глаза –
остудит тебя зимовка, –
наплевать на слёзный твой
унизительный протест –
прежде б думал головой,
а не чем назвать неловко...

В осень сосланный, впотьмах
буду жадно вспоминать

возлежание на пирах –
всё изысканно и в меру.
Счастлив тот, кому знаком
безмятежный променад
с утончённым знатоком
комментариев к Гомеру.

Предпоследний светлый день,
восхитительная рань.
Упивайся и владей –
ты пока ещё хозяин, –
от унынья откажись
и наполни чашу всклянь
за приемлемую жизнь
императорских окраин.



Анна Виноградова. «Дженовичи». Тонированная бумага, цветные карандаши. 21х35,5 см.
2018 г.